

Б И Б Л И О Т Е К А

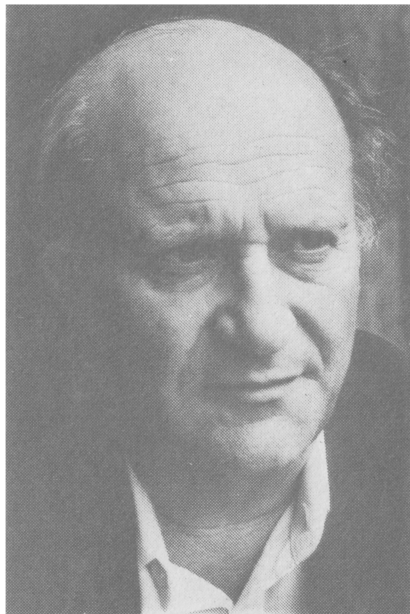
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 29

1990



Юрий ДАВЫДОВ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ТАЙНАЯ ЛИГА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 29

Издается с января 1925 года

Юрий ДАВЫДОВ

ТАЙНАЯ ЛИГА

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1990

Юрий ДАВЫДОВ

Юрий Владимирович Давыдов родился в 1924 году в Москве. Участник Великой Отечественной войны Узник сталинских лагерей. Автор романов, повестей и очерков на исторические темы. Среди них — «Глухая пора листопада», «Судьба Усольцева», «Соломенная сторожка» и др.

Лауреат Государственной премии СССР (1987).

ТАЙНАЯ ЛИГА

1. Светлейшая княгиня Юрьевская

Некое «неустановленное лицо» — есть такая интригующая пометка на архивных документах — записало со слов генерал-адъютанта Рылеева:

«Государь сказывал, что мать будущей Юрьевской вышла к нему на одной из станций южных дорог и стала жаловаться на свое расстроенное состояние, прибавляя, что у нее в Петербурге, в Смольном, дочь, которая останется бесприданницей. «Окажите, ваше величество, ей милость!..» Государь говорил, что он давно забыл об этом и вспомнил только при каком-то посещении Смольного института. Она ему сразу понравилась, и при дальнейшем посещении он заключил, что она его полюбила. «Но клянусь, что я не касался до нее до тех пор, пока доктора не предъявили мне, что она зачахнет от любви».

А. М. Рылееву можно, пожалуй, верить. Труднее верить ссылке Александра II на диагноз медиков. Не станем томить читателя: «будущая Юрьевская» не зачахла.

Ее звали Екатериной. Урожденная Долгорукая, она — находка для беллетриста. Беллетрист волен черпать полные пригоршни из книжки, посвященной любви могущественного монарха и княжны-бесприданницы, написанной на досуге Морисом Палеологом, тем самым Палеологом, который представлял Францию при последнем Романове.

Она поселилась в Зимнем. Ее назначили фрейлиной. У нее появился банковский счет, вилла в Ливадии и прочее, прочее, прочее.

Шли годы. У «будущей Юрьевской» рождались дети. Секрет адюльтера стал секретом полишинеля. Но оставалась тирания этикета, приходилось блюсти приличия. Впрочем, это не препятствовало Долгорукой, пользуясь высочайшим покровительством, брать взятки. Было и еще одно утешение: царь обещал княжне подвенечное платье, как только он «освободится» от императрицы.

Майским утром 1880 года к Собственному подъезду Зимнего дворца подкатили две кареты, сопровождаемые всадниками конвоя: Александр II приехал из Царского Села, его сын — с Елагина острова.

Императрица приказала долго жить. В дневнике наследника записано: «Что было страшно тяжело, это сейчас же после надо было присутствовать у папá за докладом военного министра, как будто ничего и не было! Не понимаю, как папá мог выдержать доклад и выслушивать в продолжение целого часа совершенно пустячные бумаги!»

Еще и сапог не износив и едва ли сорокоуст отчитав, Александр II обвенчался с княжной. Генеалогия, ушлая служанка августейших особ, отыскала в числе ее предков Мономахова сына Юрия, и Долгорукую нарекли светлейшей княгиней Юрьевской.

2. Тринадцать неизвестных

Дворцовая историйка разыгрывалась за кулисами Истории. На сцене Истории происходили события истинно драматические.

Было коллективное подвижничество «хождения в народ». Завязалась отчаянная схватка горстки храбрецов-максималистов с самодержавием. Взлет революционного духа, безоглядность жертвенного порыва остановили на России «зрачок мира».

В августе 1879 года возникла «Народная воля». В порядок дня был поставлен и «центральный акт» — цареубийство.

Рубеж 70—80-х годов отмечен лихорадочным состоянием элиты. В формуле — «кризис верхов» — не только аспекты политические и административные, но и спектр настроений и чувств.

Смятением дышат страницы дневника будущего Александра III, тетради с толстым кожаным переплетом и металлическим замком: «Просто ужас, что за милое время!», «Самые ужасные и отвратительные годы, которые когда-либо проходила Россия — 1879 и начало 1880 г.»

Причитали не в одной лишь Северной Пальмире, но и в белокаменной, где некий граф заносил в свою памятную книжку: «Мы живем как на вулкане. Спаси, господи, Россию от страшного внутреннего зла!» А военный министр сетовал, что многие официальные лица «бездействуют и потакают» опасным происшествиям.

Однако не все желали «потакать». Нашлись и нежелающие. Нашлись и объединились в августе 1879 года, чуть ли не день в день с возникновением «Народной воли».

Основоположников-народовольцев было одиннадцать-двенадцать. Они задались целью ниспровергнуть самодержавие и самодержца. Не желавших «потакать» было тринадцать. Они решили «парализовать зло, образовать железный круг около его величества и умереть вместе с ним, если ему суждено погибнуть».

«Мы, — заявлял один из тринадцати, — торжественно поклялись, что никто и никогда не узнает наших имен... Мы основали лигу, род ассоциации, управляемой тайно и неизвестной даже полиции, которой, впрочем, и без того многое остается неизвестным».

Жалобы на плохое состояние политической полиции, как и желание добиться ее высокого профессионализма, тоже одна из примет «кризиса верхов».

После халтуринского взрыва в Зимнем дворце (февраль 1880 года) был призван на спасение династии «варяг» — М. Т. Лорис-Меликов. Граф называл Третье отделение «гнусным учреждением».

Его союзницей в деле совершенствования тайной полиции явилась княгиня Юрьевская. «В этом надо отдать ей полнейшую справедливость», — признавал Лорис-Меликов. — Она подготовила почву и однажды сказала мне: «Теперь говорите государю, я уже говорила ему».

Почему княгиня Юрьевская поддержала Лорис-Меликова? Существует упоминание, что у нее были давние счёты с Третьим отделением: когда-то шеф жандармов, державший сторону императрицы, грозился «истребить» соперницу-«девчонку». Если это и верно, то все-таки слишком невесомо, чтобы определять поведение княгини Юрьевской. Нет, она, лично она, и, вероятно, горячее прочих, жаждала сильной и всепроникающей полиции. Только сохранив царя от покушений террористов, она могла рассчитывать на корону.

В августе 1880 года Третье отделение собственной его величества канцелярии было заменено департаментом полиции министерства внутренних дел, бразды которого принял генерал Лорис-Меликов.

Тот же аноним из числа тринадцати, письмо которого мы цитировали выше, сомневался в надежности даже «хорошей полиции», ибо: «Полиция — это институт, где каждый отбывает свою повседневную обязанность, только о ней и думая». Иная статья, подчеркивает аноним, «мы, наши агенты». Ибо: «...все избраны из заклятых врагов социалистов. Полиции бегут нигилисты, нас они не знают и принимают за своих собратьев».

Приведенные строки адресованы княгине Юрьевской. Будучи союзницей Лориса, она приняла и роль посредницы между «Т. А. С. Л.» и Александром II.

3. «Т. А. С. Л.»

Письма, лежащие перед нами, внешне красивы.

Голубоватая бумага, в левом верхнем углу монограмма, увенчанная короной. Чернила плотные, на растворе нигрозина, и, как сказал бы каллиграф, «хорошо сходящие с пера». Слегка наклоненный вправо, «приятный во всех отношениях» почерк человека, привычного к кабинетным занятиям и вполне владеющего французским. Никаких помарок на всех тридцати страницах. На двух из них — увесистая печать красного сургуча того добротного качества, который придает оттиску глянцевищность. На печатях отчетливы и лавровый венок, и звезда с лучами, и крест, похожий на орденский, и надпись: «Т. А. С. Л.», «БОГ И ЦАРЬ», «1879», «СПБ. ОТДЕЛЕНИЕ».

Первое письмо датировано 18 мая 1880 года, последнее — лишь числом и месяцем — 17 декабря. Есть вовсе не датированные, есть с обобщенным текстом.

Едва перелистав эту таинственную корреспонденцию, определяешь два обстоятельства. Архивная подборка неполна: в одном из писем упомянута некая предыдущая информация, а между тем ее не обнаруживаешь. (Еще досаднее то, что мы не знаем, где письма княгини Юрьевской к этому анониму. А письма были! «Я имел честь получить ваш любезный ответ», — свидетельствует аноним, каковой для княгини Юрьевской, конечно, не был анонимом.)

Неизвестный автор принадлежал к «высшим сферам». Это явствует не только из его прямых заявлений, но и из мелочной осведомленности. Так, например, он сообщает княгине Юрьевской, что такая-то депеша, ночная и спешная, «была отправлена на Английскую набережную», а в другом месте называет мадемуазель Шебеко как возможный, так сказать, канал связи.

На Английской набережной квартировал князь М. М. Долгорукий, старший брат княгини Юрьевской; одно время, до переселения в Зимний, она тоже жила в этом особняке. А Варвара Шебеко подвизалась компаньонкой у княгини Юрьевской — дел рачительница, детям — нянька, к тому же один из братьев княгини был женат на сестре В. И. Шебеко.

О чем же сообщал рыцарь с опущенным забралом в своих голубоватых французских письмах? О чем извещал он даму-патронессу, неоднократно напоминая о необходимости хранить все в секрете от всех, кроме государя, и столь же неоднократно подчеркивая полное доверие «Т. А. С. Л.» к той женщине, чувства которой к царю не могут не внушать высокого уважения?

Возникновение «Т. А. С. Л.» корреспондент княгини Юрьевской объяснял «безмятежной дремотой общества», в то время как «адский мир нигилистов, революционеров, социалистов, коммунистов — этих российских санкюлотов» «раздавался вишь и бурлил на всю Россию».

«Что же делать? Как предупредить мятеж, революцию?» — вопрошал аноним. «В эту годину кризиса», повествует он, тринадцать человек «не впади в общую одурь и решились спасти того, кто слишком хорош для народа, не знающего признательности».

«Название нашей лиги, — писал он позже, — «Т а й н а я а н т и с о ц и а л и с т и ч е с к а я Л и г а». Наш девиз — «Бог и царь», наш герб — звезда с семью лучами и крестом в центре. Ныне нас насчитывается около двухсот агентов, и число их непрерывно растет во всех уголках России. При желании, мадам, вы могли бы составить представление, хотя и смутное, о нашей лиге, вспомнив об обществе франкмасонов и других подобных обществах и ассоциациях с их девизами и гербами».

Очевидно, «мадам» выразила подобное желание, и аноним не заставил просить себя дважды. Мы приведем его строки не ради ирониче-

ской улыбки, а потому, что они дают некоторое представление о структуре лиги:

«Великий лигер, два высших лигера и младшие лигеры, деятельные члены, депутаты, секретари канцелярий, агенты администрации — одним словом, вся административная часть лиги (за исключением ее членов) в молчании собираются в большой зале собраний, где происходит молебен. У каждого черные уставные одежды, на груди знак с серебряными лигистскими литерами, у некоторых гербовые знаки на левом рукаве... После молебна исполняются различные церемонии, какие происходят в молчании, и лица у всех закрыты, ибо, по законам лиги, никто не должен знать, кто именно его непосредственный начальник, дабы избежать уколов самолюбия и предупредить измены. Именно здесь я имел честь сообщить ассамблее милостивейшее слово его величества. (Отсюда нетрудно заключить, что письма, посланные княгине Юрьевской, были читаны Александром II и что деятельность лиги, неизвестной официальной полиции, одобрялась царем. — Ю. Д.) В ответ, как знак нижайшего подчинения и признательности, все эти черные фигуры склонились. Затем началось обсуждение. (Очевидно, каких-то очередных дел. — Ю. Д.) Под конец, по обычаю, члены лиги и свиты удалились. Лигеры последовали в полусвещенный «Черный кабинет», и двери были закрыты. Они (лигеры. — Ю. Д.) заняли места вдоль стен, на которых висят гербовые знаки... Все, что решается в «Черном кабинете», неотменимо — скорее Нева потечет в Ладогу, чем не исполнится в назначенный час приказ, здесь данный... Вот, мадам, пример наших церемоний, которые напоминают церемонии обществ, известных в истории, и которые не могут быть иными в лиге, члены которой связаны клятвой».

В посланиях к княгине Юрьевской рассеяны и другие «организационные моменты». Встречаются упоминания о филиалах в городах европейской России. Агенты обозначаются номерами (даже трехзначными!) и литерами. Есть известие о том, что «под развевающимися знаменами лиги» действует пара великих князей, близкие друзья графа Лорис-Меликова, один из членов подчиненной ему Верховной распорядительной комиссии.

Сам граф не был взыскан особой милостью лигеров: «Мы хорошо знаем, каков его характер и кто он есть. Это смелый и добрый человек, но малознергичный и лишенный талантов, хотя он и спешествует благу, ибо наделен доброй волей и предан делу (что ныне встречается редко). Однако он не относится к тому роду людей, которых следует называть железными и из которых состоит наша лига. Не знаю, хватило бы у него духу умереть за благо. Поэтому было бы бесполезно посвящать его в наши тайны и в данный момент причислять к нашей лиге».

Оставим в стороне «развевающиеся знамена». Обратимся к методам лиги. Увы, они освещены сумеречным светом.

Можно, например, понять, что одним из приемов «железных людей» было (коли было!) проникновение и внедрение в подполье: «Отмечу, мадам, что четверть наших агентов находится среди революционеров»; «...наша лига располагает примерно двумястами особами, которые действуют не силой, но тем не менее способствуют падению социалистов».

Но если и центр «Т. А. С. Л.», и филиалы, и агенты, если все это существовало не только на голубоватой бумаге с монограммой, а «взаправду», то корреспондент княгини Юрьевской должен был отразить в своих письмах не одни лишь «развевающиеся знамена».

4. Пыль в глаза или все-таки «нечто»?

Едва аноним оставляет тривиальности типа «гроза близится», «прилив нарастает», «анархия опрокинет», едва переходит к конкретному, как от его писем шибает враньем.

Вот, скажем, он осведомляет Зимний, что лигеры избавили императора от беды, захватив «многие личности», «в частности, двух руководителей». И далее: «Снаряд, о котором я говорил, прибыл прямо из Америки в ящике с ярлыком фирмы швейных машин. Еще в декабре 1880 г. (ошибка, так как письмо помечено маем 1880 г.—Ю. Д.) нам телеграфировали, что русские социалисты состоят в переписке с американскими. Ящики хранились в петербургском магазине, и никто не подозревал об их содержимом».

Судя по всему, «акция» выдалась крупная. И сразу выстраивается вереница «но». Во-первых, мы-то теперь точно знаем, что никаких снарядов народовольцы из-за океана не получали, а изготавливали домашними средствами. Во-вторых, что случилось с захваченными лицами? Их убили? Но сам «великий лигер» заявлял, что лига «никогда не присваивает себе права жизни и смерти, что она не намерена «марать руки в крови». Может быть, пленников передали полиции? Опять-таки сам «великий лигер» всячески отмежевывался от официальной полиции, приносящей «один вред».

Объективности ради приведем пример, который как будто бы свидетельствует о некоторой осведомленности в делах подпольщиков.

В письме — тоже майском, 1880 года — аноним бьет во все колокола: он умоляет княгиню Юрьевскую уговорить царя не ездить на развод караулов в Михайловском манеже.

Почему «великий лигер» лишает монарха привычного удовольствия? А потому, что «возник новый план злодеяния» — на пути к манежу «квартиры заняты» революционерами и, вероятно, будет брошена бомба.

Каждый, кому известны перипетии народовольческой охоты за царем, поневоле насторожится. Да, в начале 1880 года путь к манежу еще не был заминирован, но Исполнительный комитет уже «составил, — как

пишет В. Н. Фигнер, — проект снять магазин или лавку на одной из улиц Петербурга, по которым наиболее часто совершался проезд императора: из лавки предполагалось провести мину для взрыва... Так как царь обязательно должен был ездить в Михайловский манеж, то магазин искали по улицам, ведущим к нему».

Сохранилась тетрадь начальника государственного конвоя капитана К. Ф. Коха, где зафиксированы все маршруты Александра II. Они не изменились и после доноса «великого лигера». Больше того, 1 марта 1881 года полиция осматривала сырную лавку, из которой шла минная галерея под Малой Садовой. Осмотрела и... ничего не обнаружила.

Да, Александр II случайно не поехал в тот день по Малой Садовой, но не случайно именно в роковом районе манежа его настигла бомба Гриневецкого, и капитан-охранник лучше выдумать не мог, как нарисовать в своей официальной тетради череп с двумя перекрещенными косточками.

Казалось бы, на сей раз «великий лигер» действительно направил указующий перст в самую опасную точку. Однако, заглянув в казенную «Хронику социалистического движения», мы читаем: «Достоинно внимания, что анархисты с давних пор обратили внимание на Малую Садовую, это видно из того обстоятельства, что еще в д е к а б р е 1879 г. (выделено нами. — Ю. Д.) из-за границы были получены сведения (правда, преждевременно), что в этой столь населенной части города изготовлялись мины».

Итак, полиция знала о «путях к манежу» за полгода до того, как «великий лигер» явил «свою проницательность». Остается догадываться, что источником этой сверхбдительности был разговор с кем-то из высших чинов Третьего отделения. Конечно, в письмах анонима присутствуют блеф, мистификация, пыль. Но присутствует, как нам кажется, и нечто весьма серьезное.

Речь идет об Исполнительном комитете «Народной воли».

Пятый параграф ее устава, принятого в Липецке, гласил: «Комитет должен быть невидим и недосягаем». Члены комитета, по свидетельству В. Н. Фигнер, обязывались «ни в сношениях частного и общего характера, ни в официальных актах и заявлениях (то есть на следствии и суде. — Ю. Д.) не называть себя членами Исполнительного комитета, а только агентами его». Пополнение производилось без огласки, кооптацией сверху вниз. Разумеется, архисекретной была и численность комитета. Когда один из революционеров спросил члена Исполнительного комитета А. И. Баранникова: «Как велико число членов Исполнительного комитета?» — последний поступил невежливо, зато по уставу: ничего не ответил.

На вопрос этот ответили другие. Но уже после трагедии, когда занавес опустился.

В. Н. Фигнер: 28 человек.

Л. А. Тихомиров: 26 человек.

А. П. Корба: 17 человек.

Историк В. А. Твардовская определила число членов комитета в 31 человек. Поскольку в разное время в тесной, сплоченной руководящей группе было неодинаковое число находящихся в строю, возьмем за среднее 25 человек.

Существуют сведения и об активных бойцах, готовых по знаку комитета выступить на улицу с оружием в руках: 500 человек. А тех, кто «принадлежал к партии или находился под сильным ее влиянием», было в несколько раз больше.

Все это, повторяем, строжайшие секреты народовольцев.

В письме «великого лигера» численность Исполнительного комитета названа: 24 человека. Названо и число активных бойцов: 600 человек! И тут же оговорено: к ним следует прибавить 900, а возможно, и 1500 человек, «которые принадлежат к группам и действуют, как солдаты в бою, согласованно и безостановочно, не считаясь с препятствиями».

Указанное письмо лигера не датировано. Но оно следует за январским 1881 года и еще одним, тоже недатированным. Стало быть, вероятнее всего, писано весной 1881 года. А в феврале того же года Исполнительный комитет, собравшись на конспиративной квартире у Вознесенского моста, как раз и насчитал 500 активных бойцов. Не поразительное ли совпадение фактических данных?

5. «Добровольные полицейанты»

Генерал Рылеев, упомянутый выше, так отозвался о событии 1 марта 1881 года — курсивы записи, очевидно, передают голосовые модуляции рассказчика:

— Первого марта, после развода в Михайловском манеже, государь пил чай у великой княгини *Екатерины* Михайловны, куда тоже была приглашена княгиня *Екатерина* Михайловна Юрьевская, но не приехала. Убийство совершено на *Екатерининском* канале... Венчание государя с княжной Долгорукой происходило в 3 ч. 30 мин. *полудни*, последний вздох погибшего государя произошел в 3 ч. 33 мин. *полудни*...

От этого нажима на имя «Екатерины», как и от сопоставления венчания с агонией, отдавало бы примитивной мистикой, если бы в них не сказывалось отношение к княгине Юрьевской, мгновенно утратившей все свое влияние.

Вчерашние лизоблюды рассеялись. Даже Лорис-Меликов, столь многим обязанный княгине Юрьевской, поспешно сподличал, предложив Александру III какую-то темную махинацию с ее деньгами, каковые были немалые — почти три с половиной миллиона.

«Милый Саша» — так княгиня Юрьевская, словно с разбегу, продолжала именовать наследника, а теперь уже венценосца. — «Милый Саша» на фокус, изобретенный Лорисом, не пошел. Но, понятно, теплых

чувств к мачехе не питал. Особенно крепко помнилась отцовская угроза отдать престол сыну княгини Юрьевской, резвому и неглупому, но ленивому Гоге.

У Александра III хватало здравого смысла не придавать серьезного значения слухам о том, что мачехой и сводным братцем могут воспользоваться в целях дворцового переворота. (Между тем слух этот был упорным и распространенным. Так, в апреле 1887 года Ф. Энгельс писал Ф. Зорге: «Панслависты хотят посадить на престол сводного брата нынешнего царя, старшего сына Александра II и Долгорукой».) И все же царь косился в сторону европейских курортов, где рассеивала свое горе светлейшая княгиня. Больше того, распорядился об учреждении за нею секретного наблюдения.

Осуществлял надзор обер-шпион, руководитель русской агентуры в Европе П. И. Рачковский. Не трогая пикантных подробностей как самого наблюдения, так и нравственности безутешной вдовы Александра II, укажем, что Рачковский добивался тайного просмотра ее архива. Рачковский был пройдохой, но это ему не удалось.

Правда, известны мемуары княгини Юрьевской. Она укрывалась за мужским псевдонимом — «Виктор Лаферте». Книжка, как справедливо отметил профессор П. А. Зайончковский, не представляет ценности для историка. Ни ценности, ни достоверности не находили в ее мемуарах и весьма осведомленные современники. А. А. Толстая, сестра министра Д. А. Толстого, хорошо знавшая дворцовые круги, резко опровергла княгиню Юрьевскую в своей брошюре, напечатанной в Париже.

Каким бы пустым ни было сочинение «Виктора Лаферте», а в России оно долго находилось под запретом. «Это объясняется, — писал историк освободительного движения В. Я. Богучарский, — не какими-либо крамольными ее свойствами, а лишь теми особенностями русской жизни, благодаря которым все, касающееся жизни двора (за исключением того, что считается возможным публиковать в «Правительственном вестнике»), не подлежало («ведению»² — Ю. Д.) простых смертных».

Для автора настоящей заметки самый большой грех указанных мемуаров состоит в том, что в них нет и словечка о «Тайной лиге», нет даже и намека, над которым стоило бы задуматься.

Между тем задуматься есть резон. Ведь пока княгиня Юрьевская кропала (или диктовала какому-то наемному перу) свои воспоминания, дело, затеянное ее друзьями-лигерами, процветало. Только теперь сообщество не именовалось космополитическим термином, а звалось «Священной дружиной».

Факт давний, непреложный, отмеченный и архивными документами, и мемуаристами, и комментаторами: «Священная дружина» возникла в марте 1881 года, после смерти Александра II. Возникла и была выкидышем реакции с ее зловецом шорохом «совиных крыл» Победоносцева.

Но письма «великого лигера», все, что в той или иной степени, пусть пока и недостаточной, из них выясняется, — не есть ли свидетельство того, что «Священная дружина» продолжительница «Тайной лиги»? В самом деле, сходство разительное.

Цель — одинаковая: «тайный крестовый поход против врагов порядка», как формулировала «Хроника социалистического движения». «Хроника», кстати сказать, составлена под главной редакцией генерала Шебеко, родного брата В. Шебеко, которая гнездилась подле княгини Юрьевской и о которой писал «великий лигер».

Закоперщики — если не одни и те же (именного списка лигеров мы покамест не обнаружили), то и там и здесь люди с весом и положением. Структуры — родственные: центр, филиалы, агенты.

Генерал и публицист Р. А. Фадеев, близкий к Александру III, указывал, что идея «священной дружины» носилась в воздухе еще до «Священной дружины». Можно, пожалуй, добавить, что «идея» не только носилась в воздухе, как нетопырь, но и ползала во тьме и прахе, как рептилия, обернувшаяся «Тайной лигой».

Небезынтересно следующее. П. А. Кропоткин в «Записках революционера» говорил, что для «охраны царя была основана тайная лига». Правда, тут речь о временах Александра III. Но вот что примечательно: Кропоткин различает «Тайную лигу» и «Священную дружину». Может быть, он имел в виду «Добровольную охрану», это дочернее «предприятие» при «Священной дружине», а может что-то слышал о «Т. А. С. Л.»?

Мы решаемся лишь предполагать следующее: лигеры, в отличие от дружинников, были малочисленны; лигеры, опять-таки в отличие от дружинников, не были связаны с официальной полицией, чурались, избегали ее. И хотя однажды «великий лигер» пожаловался на то, что ассоциация «уже становится достоянием света», она в этом отношении пользовалась большей секретностью, нежели «Священная дружина».

Было бы неверным считать, что даже так называемое общество дружно рукоплескало дружинникам. Нет, иные пожимали плечами. «Неизвестно, — писал один из таких недоумевающих, — что во всей этой затее было более изумительно: то ли, что люди во всех отношениях почтенные, заслуживающие всеобщее уважение, добровольно взяли на себя роль полицейантов со всеми ее не всегда красивыми атрибутами, или то, что те же люди находили в этом известного рода удовлетворение, словно дети, взявшие в руки новую игрушку».

Если вполне благонамеренный чиновник говорил о некрасивых «атрибутах», то человек совершенно неблагонамеренный определил дружинников как «Общество частной инициативы спасения» и как «Клуб взволнованных лоботрясов». По «котям» нетрудно узнать «льва»: Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в «Письмах к тетеньке» и в «Современной идиллии».

1977

ХРАНИТЕЛЬ КОЖАНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ

1.

Пожилая дама, посетительница редакции, помещавшейся в Эртелевом переулке, была раздосадована: издателя не оказалось на месте.

Ей подали редакционный бланк, и она наскоро написала, что вот, мол, привезла «запрещенные бумаги», оставшиеся после смерти мужа, Владимира Рафаиловича Зотова.

«Разбирая бумаги,— предупреждала она,— будьте осторожней, нам пришлось два письма утопить, так как были очень подозрительны и можно было предположить динамит. По всей вероятности, тут его нет, потому что В. Р. разбирал их, но осторожность не мешает».

2.

Минуло несколько лет

В Петербурге, не так уж и далеко от Эртелева переулка, на Спасской, 25, приступила к работе, или, как тогда говорили, к занятиям, редакция журнала «Былое». Журнал освещал историю освободительного движения. Он явился своевременно: империю, от Кронштадта до Владивостока, раскатывали волны первой революции.

В одном из номеров журнала известная в свое время народоволка Анна Корба, женщина необыкновенной отваги и душевной чистоты, рассказывала о своем друге Александре Михайлове, давно сгинувшем в казематах Алексеевского равелина Петропавловской крепости.

Отменный конспиратор, человек четкой деловитости, поглощенный массой повседневных забот, Михайлов «очень заботился о том, чтобы сохранилась для истории память о погибших товарищах. Главный архив, куда он бережно носил письма, воспоминания и карточки погибших, помещался у одного чиновника. Этот добрый человек, вероятно, давно умер, так как в то время уже был глубокий старик».

Эти строки редакция сопроводила примечанием:

«Мы приняли некоторые меры к разыскиванию архива, о котором говорит А. П. Корба, но пока безрезультатно».

3.

Между тем один, в сущности, непримечательный случай, мог бы, пожалуй, дать чаемый результат.

В театре на Фонтанке шла генеральная репетиция. Партер был по-

лон. Не могу сказать, увлекалась ли публика сценическим действием, но знаю, что один из сидящих в зале привлекал общее внимание. То был вчерашний узник Шлиссельбурга Николай Александрович Морозов. Четверть века отжил он в каземате; натиск революции распахнул двери застенков; в Петербурге Морозов сразу сделался желанным гостем митингов, собраний, домашних вечеров.

В антракте к нему подошел изящный Плещеев, сын поэта и записной театрал.

— Хотите, я познакомлю вас с Сувориным? — спросил Плещеев, показывая глазами на сановитого старца, сидевшего в кресле.

Положение, мягко выражаясь, создалось затруднительное.

Как! Ему, Морозову, яростному противнику монархии, раскланиваться с одним из столпов самодержавия?

— Увольте, — ответил Николай Александрович.

Язык не повернется осудить непреклонность Морозова, но... Но разговоришься вчерашний шлиссельбуржец с Сувориным, и тот, может статья, упомянул бы о пожилой даме, доставившей ему «запрещенные бумаги» из портфелей покойного мужа. Конечно, с того дня минули годы, однако вряд ли Суворин забыл о подозрительных и потому утопленных пакетах.

4.

Нет, Зотов не был чиновником, как помнилось автору мемуаров, опубликованных в журнале «Былое». Он был литератором.

Медленная Лета проворно поглощает нашего брата, да что ж тут поделаешь. Забыт, давно и прочно забыт Владимир Рафаилович Зотов, родившийся в 1821 году и умерший на закате столетия, в девяносто шестом.

Он извел ведра чернил и пуды бумаги. Сотрудничал во многих столичных журналах и газетах. И сам сочинял, и переводил, большей частью с французского. Был и критиком и публицистом. Умел и любил пособить начинающим, пробующим перо. Редактируя «Литературную газету», напечатал первое стихотворение сподвижника Чернышевского — Михаила Михайлова; тот всегда испытывал к Владимиру Рафаиловичу теплое, признательное чувство. Григорович нашел в нем приветливого, внимательного наставника. Он восторженно отзывался о молодом Короленко: «Сколько свежести!.. Все — прямо с натуры, пережитое, перечувствованное и прочувствованное!»

Неприметный, скромный Зотов, вечно поглощенный корректурами, собрал коллекцию портретов декабристов, передал Герцену списки «крамольных» стихов. Тех, что вошли в герценский сборник «Русская потаенная литература». Да и сам Владимир Рафаилович написал несколько подобных стихотворений.

И потому был вправе на склоне лет сказать о себе:

Внук крестьянки и татарина,
Я был русский человек
И недаром имя «барина»
Ненавидел весь свой век...

Обо всем этом сообщаю ради того, чтобы было понятно последующее.

5.

Есть на Литейном дом, озарившийся некогда «русским светом», электричеством, — там жил изобретатель Яблочков. Но «русским светом» озарялся он и до Яблочкова — там жили Некрасов, Добролюбов, Глеб Успенский. В этом же доме лет двадцать квартировал Зотов.

Сюда, к Зотову, присяжный поверенный Ольхин, весьма известный в радикальных кругах, привел однажды Николая Морозова, тогда еще очень и очень молодого, с юношеским румянцем и пушком на щеках. Понятное дело, шестидесятилетний Владимир Рафаилович — высокий, тощий, морщинистый — показался Морозову стариком. Но вот глаза, голубовато-серые глаза смотрели живо, пронизательно, и Морозов сразу понял, что в этой ветхой оболочке живет дух, не поддающийся ни временам, ни времени.

Николай Морозов искал надежное укрытие для подпольного архива. Владимир Рафаилович, ни минуты не колеблясь, согласился. А надо вам сказать, что на дворе была година свирепого сыска и эшафотов. Правда, в некотором роде и либеральная. Была у Зотова обширная домашняя библиотека, находилось место и для книг запрещенных, доставленных отнюдь не в чемоданах с двойным дном. Современник рассказывает, что крупные книгопродавцы Петербурга «имели возможность получать все без исключения заграничные издания, каким бы широким вето они ни были поражены у нас в России». Однако теперь, как говорится, с подачи Ольхина, к Зотову начала поступать и печатная, и рукописная продукция, наличие которой грозило ему «бубновым тузом». В лучшем случае отправкой в края толико отдаленные, где люди ездили не на лошадях, а на собаках, чему петербургские цензоры не верили и требовали подтверждения от министерства внутренних дел. Зотов хранил документы не только «Земли и Воли», но только документы «Народной воли», но и списки шпионов, составленные Клеточниковым, чиновником тайной полиции по удостоверению за номером сто один и революционером по неписаному «мандату долга».

Но вот Морозов исчез — он был арестован.

Его сменил Александр Дмитриевич Михайлов. Тот самый, о котором год и годы спустя рассказывалось на страницах журнала «Былое».

В ноябре 1880 года исчез и Михайлов. Он вскоре погиб в Петропавловской крепости. Никто из его товарищей не знал ни имени, ни адреса хранителя кожаных портфелей.

Никто, кроме Морозова, замурованного в Шлиссельбургской крепости.

6.

Итак, в последний год прошлого века вдова Владимира Рафаиловича привезла «запрещенные бумаги» в Эртелев переулоч, в редакцию газеты «Новое время», издателю Суворину.

Спрашивается: почему же Суворину, политическая репутация которого была вѣдома и младенцам? Черт знает почему. Может, просто-напросто оттого, что Зотов уже глубоким стариком снискивал хлеб насущный переводами и заметками в суворинском «Историческом вестнике».

Заметьте, однако, вот что. Неожиданный наследник не передал революционный архив ни журналу «Былое», ни Морозову, ни его уцелевшим в каменных мешках товарищам.

По смерти Суворина издательство (да, кстати, и упомянутый театр на Фонтанке) досталось одному из его сыновей. Об этом малом отзывались весьма нелестно: интеллектуальное ничтожество, обладающее кроличьей хитростью.

Должно быть, она-то, кроличья хитрость, и подстрекнула Суворина-младшего сделать реверанс Февральской революции: тотчас вслед за падением Романовых он поспешил вручить «запрещенные бумаги» сотрудникам редакции «Былого».

Те немедленно послали за Морозовым.

Вообразите волнение, с каким он склонился над сокровищами, словно бы всплывшими из пучины. И все же Морозов был огорчен:

— Недостает самых важных документов...

Никто не мог объяснить эту недостачу.

Полагаю, читатель догадывается, в чем дело. Ведь вдова Зотова указывала в своем письме — два пакета мы у н и ч т о ж и л и, предположив наличие динамита.

Что за притча? Для взрывчатки народовольцы припасали другие убежища и другие, небумажные емкости. Да и не стали бы они подвергать излишней опасности ни Владимира Рафаиловича, ни дорогие для них кожаные портфели.

Стало быть, мне не дано отгадать. Остается предположить, что старика Зотова взбудоражил слух, пронесшийся в конце восьмидесятых годов: толковали, что где-то в провинции революционеры смастерили «взрывчатые пакеты».

* * *

Сказано: книги имеют свою судьбу.

Вот судьба необыкновенная: архив землепользовцев и народовольцев издан в наше время, в тридцатых годах. Эта книга — венок на затерянную могилу скромного хранителя кожаных портфелей.

1979

БОРИС САВИНКОВ, ОН ЖЕ В. РОПШИН, И ДРУГИЕ

На севастопольской гауптвахте он ждал петли.

В камере на Лубянке он ждал пули исполнителя.

И виселица, и расстрел причитались в точном соответствии с законом. В молодости — по законам Российской империи. В зрелости — по законам Российской республики.

21 августа 1924 года он приступил к письменным показаниям. Почерк был твердым, текст сжатым, как возвратная пружина браунинга.

«Я, Борис Савинков, бывший член Боевой организации ПСР¹, друг и товарищ Егора Созонова и Ивана Каляева, участник убийства Плеве, вел. кн. Сергея Александровича, участник многих других террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа и во имя его, обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках».

27 августа 1924 года Военная коллегия Верховного суда СССР начала слушание дела Савинкова.

29 августа председатель объявил заседание закрытым.

Савинкова Бориса Викторовича, 45 лет, приговорили к высшей мере наказания с конфискацией имущества.

Имущества не было. Конфискации подлежала жизнь.

* * *

К опытам этой жизни, напряженно-нервным, как снаряжение бомб в подпольной мастерской, обращался писатель В. Ропшин.

Ахматова сказала о чеховском «Рассказе неизвестного человека»:

— Как это фальшиво, искусственно. Ведь Чехов совершенно не знает эсеров.

¹ Партия социалистов-революционеров (эсеров).

Беллетрист В. Ропшин эсеров знал, ибо был Савинковым. В его прозе много заемного? Пусть так. Зато фальши-то нет. Он изобразил Коня бледного, впоследствии — Коня вороного. Вмышленные погоней, они пахли потом и сукровицей.

Из глубины сибирских руд отозвался читатель, каторжанин-террорист: искренностью и силой взволнован до глубины души; все писано слезами и кровью сердца, нет ни одного невыстраданного слова.

Имя этого читателя Савинков назвал в первых строках своих августовских показаний 1924 года.

За двадцать лет до того они с Егором Созоновым готовили покушение на министра внутренних дел, статс-секретаря и сенатора Плеве.

Идеалом Плеве была вечная мерзлота политического грунта. Ему говорили, что со дня на день возможна студенческая демонстрация, он отвечал: «Высеку» Ему говорили, что в демонстрации примут участие курсистки, он отвечал: «С них и начну». Надо бы уточнить. Начинал Вячеслав Константинович — и продолжал — не розгами, а кандалами и эшафотами. Символ всего сущего он видел в параграфах инструкций. Он был столь же фанатичным бюрократом, сколь и свирепым шовинистом. Именно Плеве разгромил украинских мужиков-повстанцев. Именно Плеве подверг военной экзекуции грузинских крестьян. Именно Плеве наускивал погромщиков на еврейскую гольтыбу. Именно Плеве гнул долу финляндцев. А желая воздать должное коренным подданным, утопил русских матросов в пучинах Цусимы, русских солдат загубил на сопках Маньчжурии: именно Плеве подвизался в дворцовом кругу рьяных застрельщиков русско-японской войны.

— Я сторонник крепкой власти во что бы то ни стало, — бесстрастно диктовал он корреспонденту «Матэн». — Меня ославят врагом народа, но пусть будет что будет. Охрана моя совершенна. Только по случайности может быть произведено удачное покушение на меня.

Интервью французскому журналисту дал Плеве весной 1902 года, усаживаясь в министерское кресло. Озаботившись личной безопасностью, он, что называется, брал меры: уже возникла эсеровская Боевая организация. Отметим и еще одно обстоятельство: Плеве рассчитывал и на сверхсекретного агента-provokatora, фактического руководителя боевиков.

Эта надежда взорвалась вместе с метательным снарядом.

Июльским утром девятьсот четвертого года в Петербурге группа Савинкова настигла карету министра на Английском проспекте. Плеве был сражен бомбой Егора Созонова, тяжко израненного ее осколками.

Эхо разнеслось всероссийское. Не станем цитировать ни революционеров, ни левых интеллигентов

Князь М. В. Голицын, отнюдь не левый и уж, само собой, не инородец, писал в своих неопубликованных мемуарах: «Признаться, никто его не пожалел. Он душил всякую самую невинную инициативу общества». В мемуарах Сухотиной-Толстой читаем: «Трудно этому не радоваться».

Если ей было трудно не радоваться, так как было не ликовать Борису Савинкову?

Нет, не ликовал.

Литератор, не раз встречавший Савинкова, резкими штрихами портретировал Бориса Викторовича: сухое каменное лицо, презрительный взгляд; небольшого роста, одет с иголки; не улыбается, веет безжалостностью. Однако подпольщица, отнюдь к сантиментам не склонная, увидев сокрушителя Плеве, навсегда запомнила мертвенное лицо потрясенного человека. Весь его облик она сравнила с местностью после потопа: и тот, прежний, и не тот, не прежний.

Но в седле он удержался. Устремляясь в атаку, не помышляют о келье для скорбящей души. И не озираются в поисках госпитального фургона.

Кровавое воскресенье девятьсот пятого года насквозь прожгло Боевую организацию. Народное шествие, осененное ликом Спасителя, торжественно умиленное хорovým призывом к царю царствующих хранить царя православного, мирное шествие просителей, стекавшееся к Зимнему, было расстреляно, искромсано, разметано, растоптано.

Еще и сороковины не справили по невинно убиенным 9 января, как группа Савинкова изготовилась к удару по династии. Кровь, пролитая на пути к Зимнему дворцу, отозвалась кровью, пролитой близ Николаевского дворца. В Кремле был убит генерал-губернатор Первопрестольной.

Бомбист, схваченный тотчас, объявил на первом же допросе:

— Я имею честь быть членом Боевой организации партии социалистов-революционеров, по приговору которой я убил великого князя Сергея Александровича. Я счастлив, что исполнил долг, который лежал на всей России.

Следователь по особо важным делам Головня, вероятно, поморщился от этого пылкого: «Я счастлив...» А может, и не поморщился. В архивном документе московской охранки зеркально отразилась Белокаменная: «Все ликуют».

Бомбист, однако, отказался назвать свое имя. То было правило боевиков: покамест установят твое имя, товарищи успеют скрыться. И верно, группа Савинкова не пострадала. Перелистывая архивную связку, некогда хранившуюся в Особом отделе департамента полиции, убеждаешься в энергии розыска. Но лишь в середине марта прилетела депеша из Варшавы: «Убийца великого князя, несомненно, упоминаемый циркулярами 1902 г. №№ 1907, 5000 и 5530 Иван Платонов Каляев, приятель Бориса Савинкова».

Иван Каляев испытывал к Савинкову не просто дружество, а «чувство глубочайшего восторга», утверждает боевик, вблизи наблюдавший и того, и другого. Восторг этот можно, конечно, отнести на счет натуры Каляева — впечатлительной, чувствующей свежо и сильно; недаром прозвали его «Поэтом». Но ведь и Савинкову надо же было обладать черта-

ми, решительно не совместными ни с презрительным взглядом, ни с жестокосердием.

Каляева удушили на эшафоте. Виселицу сооружали ночью на мрачном каменистом острове, в Шлиссельбургской крепости. На дворе плотничали, в закуте покуривал палач, а в комендантском доме угощались присланные из столицы военные и статские. Барон Медем, генерал, рассказывал «о многих казнях, свидетелем коих он был». (Сценку застолья воссоздал очевидец, прокурор, рукопись которого не опубликована полностью.)

Ночь стояла белая, майская.

«Дорогая, незабвенная мать, — писал осужденный. — Итак, я умираю. Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу отнестись к моему концу».

И в последних строках: «Привет всем, кто меня знал, помнит».

* * *

Знали и помнили в городе Варшаве — улица Пенкная, 13, квартира 4. Там жили Савинковы.

Мать Каляева, овдовев, осталась с детьми почти без средств. Мать Савинкова пробавлялась на мужнину пенсию и на свои не бог весть какие литературные гонорары. Агентурная справка гласит: семья Каляевых сильно нуждается, ей помогает семья Савинковых.

К кому же, как не к ним, побрела с площади Витковского Софья Филипповна Каляева? С кем же, как не с Софьей Александровной, выплывать горе?

В доме на Пенкной понятия «революция», «полицейщина», «деспотизм» не были отвлеченными. Старший сын погиб в якутской ссылке. Борис едва избежал участи Созонова, участи Каляева.

Его первый арест пришелся на вьюжное рождество девяносто седьмого года. Ох, как нетерпеливо поджидали Бореньку, студента Петербургского университета. Он приехал. Мать радовалась: сыновья выходят в люди, младшие дети здоровехоньки. Мужем она гордилась. Поляки называли его «честным судьей», а это было высокой похвалой — легион мундирных русификаторов царства Польского не блистал ни честью, ни честностью.

Судья Савинков недурно изучил право. Увы, ему привелось полной мерой познать и бесправие. Еще не притупилась боль от гибели первенца, как второй сын был увезен из Варшавы в Петербург, на Шпалерную, в тюрьму. Савинков-старший заболел, его отчислили из министерства юстиции. Им овладела мания преследования, самая стойкая там, где неизбывна мания преследователей. Тенью скользил он по комнатам, губы дрожали: «Жандармы идут... Жандармы идут...»

Не будем задерживаться на тюремно-этапно-ссылочных перипетиях Савинкова. Не ахти как трудны они в сравнении с нашими недавними годами. Примечательно вот что: Савинков начинал социал-демократом. В ссылке он написал статью «Петербургское рабочее движение и практические задачи социал-демократии». Статья, по слову Ленина, отличалась искренностью и живостью. А главное, совпадала с его размышлениями о том, что делать, ибо молодой автор прокламировал насущную необходимость «единой, сильной и дисциплинированной организации».

Однако, внеся свой пай в изначальный капитал «партии нового типа», Савинков вскоре изменил социал-демократии. Не завладели ли душой будущего Ропшина эмоции, созвучные замаятинским? Евгений Замаятин признавался: «Я был влюблен в революцию, пока она была юной, свободной, огнеглазой любовницей, и разлюбил, когда она стала законной супругой, ревниво блюдущей свою монополию на любовь».

Расхожие представления угнетают одноцветностью. В таких представлениях большевик всегда как бы обладатель контрольного пакета с акциями-истинами, он на дружеской ноге с токарями-слесарями. Меньшевик в пенсне на местечковом носу суетлив, труслив, трухляв, токаря-слесаря над ним потешаются. А эсер, этот взбесившийся мелкий буржуа, прикидываясь другом народа, носит косоворотку и такой уж нервный, будто за пазухой у него адская машинка. Эсер либо бомбист, злонамеренно мешающий развитию массового движения, либо горлопан, дерагающий за бороду Карла Маркса.

Да, эсеры держали курс на «обычную» парламентскую республику. Да, чаяли демократического самоуправления. Крупное коллективное землепользование видели лишь за горизонтами всевозможных коопераций. И смели полагать, что российский «капитализм еще не исчерпал своих положительных возможностей», а государственный социализм, учрежденный поспешно и судорожно, «провалится с треском».

«Нетеррористическая сторона революционной борьбы эсеров заслуживает и давно ждет специального исследования», — отметил в своем недавно опубликованном реферате студент Дмитрий Троицкий, трагически погибший в 1982 году. И верно, на прокрустовом ложе очень уж кратких курсов программе эсеров отрубили не ноги, а голову. Читателю времен перестройки и плюрализма было бы небесполезно познакомиться с их социально-экономическими концепциями из первых рук.

Спору нет, они вели политический террор — и против тузов режима, и против мелких козырей с шевронами за беспорочную службу. «Террорную работу» (тогдашнее выражение) считали они партизанскими действиями, прологом действия регулярных сил. Всю эту «работу» осуществляла одна из эсеровских организаций — Боевая. Вот она-то и была огнеглазой любовницей Бориса Савинкова...

Ровно год спустя после гибели Каляева, в мае девятьсот шестого, Савинкова изловили. Арест произвели так, словно «поручик Субботин»,

прибывший в Севастополь, вот-вот взорвет и город, и корабли на рейдах. Филеры заломили ему руки, полицейский офицер уткнул в грудь дуло револьвера, солдаты вкруговую ошетинились штыками.

Савинкова доставили на главную гауптвахту. Был наряжен военный суд. Это ничего иного не означало, как только близость виселицы. Но все дальнейшее произошло словно в тюремных снах: верные товарищи, побег из-под стражи, парусный бот, бравый лейтенант и два дюжих матроса.

Счастливо разминувшись с броненосцем и миноноской, суденышко направилось к берегам Румынии.

Об одном из боевиков Савинков писал: «Он не представлял себе своего участия в терроре иначе, как со смертельным концом, более того, он хотел такого конца: он видел в нем, до известной степени, искупление неизбежному и все-таки греховному убийству».

Такое же желание владело и Пьером Безуховым, решившимся заколоть Наполеона. «Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенной яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою погубить и свое геройское мужество».

Но Пьер и не помышлял о греховности убийства. На войне как на войне. А боевика, сколь бы он ни внушал себе — ты в тылу врага, — пригнетало то, что он выслеживает жертву и нападает словно бы из-за угла. Э, усмехнутся скептики, бесы они, и шабаш. Полноче. И бесы веруют, говорит апостол. Интеллигентная девушка объясняла Савинкову: «Почему я иду в террор? Вам не ясно? «Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю». — И, помолчав, прибавила: — Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу».

Признавай иль не признавай религиозную струну в душе русского террориста, но вот уж что решительно нельзя признать, так это русского почина и первенства в «террорной работе». И вовсе не потому, что апологеты родных осин клеймят русскую революционность тавром чужеродности. Кстати сказать, философ Н. Бердяев, ныне читаемый поспешно и жадно, числил национальной чертой и консерватизм, и революционность.

В конце 40-х годов текущего столетия дали нам команду бороться за русский приоритет во всех «регионах» бытия. И, боже мой, где только не носились мы выше всех, дальше всех, быстрее всех! Однако о первенстве в таком деле, как экстремизм, не заикались. Хотя именно здесь-то и достигли в сравнении с 1913 годом неслыханного энтузиазма и невиданной деловитости. Нет, не заикались. Но годы спустя такой «приоритет» подарил нам американский историк Ричард Пайпс.

Ужасаясь современному западному экстремизму, и это естественно, он, будто привстав на цыпочки и вытянув шею, расслышал дальний, глухой гром, прогремевший в прошлом веке над Петербургом, — народо-

вольцы убили Александра II. Расслышал и указал: вот откуда все пошло. (Сейчас, когда плюрализм цветет, как вешняя черемуха, нашлись в наших палестинах его единомышленники. Без них-то, говорят, без этих-то народников и прочих масонов, мы бы ого-го где бы уж были.)

Так вот, если историк забывчив, то История памятлива. Спросите, и она назовет множество террористов, множество террористических актов, явившихся миру задолго до кроваво-динамитного мора над Екатерининским каналом.

И совсем уж поразительно, что Р. Пайпс слона не приметил. Ведь императора убили в марте 1881 года, а в июле 1881 года убили президента США. Впрочем, суть не в хронологии. Народовольцы открыто, публично заявили:

«Выражая американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти президента Джемса Авраама Гарфилда, Исполнительный комитет считает своим долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий, подобных покушению Гито».

Что за притча? А простая, все определяющая по своим местам. Там, где существуют политические свободы, демократическая государственность, там «политическое убийство есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей».

Коль скоро дух деспотизма упорствовал, то бомба, убившая царя, оставила в живых идею цареубийства. Савинков, мягко выражаясь, был ей не чужд.

Литературные критики правы: на В. Ропшина оказал сильное влияние Л. Н. Толстой. Может быть, и мы не ошибемся, указав на некоторое влияние автора «Не убий» на Б. Савинкова?

Когда венценосцев, писал Толстой, убивают по суду или при дворцовых переворотах, то об этом обыкновенно молчат. Когда убивают без суда, то это вызывает в династических кругах величайшее негодование. (Как выяснилось, не только в династических. Но об этом ниже.) «Самые добрые из убитых королей, как Александр II или Гумберт, — продолжал Толстой, — были виновниками, участниками и сообщниками, — не говоря уже о домашних казнях, — убийства десятков тысяч людей, погибших на полях сражений...». И далее: должно удивляться, что их, королей, так редко убивают «после того постоянного и всенародного примера убийства, который они подают людям». Толстой перечисляет: ужасные усмирения крестьянских бунтов, правительственные казни, замаривания в одиночных камерах и дисциплинарных батальонах. И вот эти убийства, утверждает Толстой, «без сравнения более жестоки, чем убийства, совершаемые анархистами».

«Не убий» — написано в девятисотом. Без малого 90 лет спустя крестьянский сын, московский писатель, предложил собравшимся единомышленникам почтить вставанием память Николая II. Нас не шокирует ни это предложение, ни это вставание. Вот только один вопрос. Отчего

вслед за тем крестьянский сын, московский писатель, не предложил почитать память усмиренных мужиков, солдат, замученных в дисциплинарных батальонах, петербургских фабричных, убитых 9 января?

С Николаем II расправились, как известно, в Екатеринбурге летом восемнадцатого года. В наши дни общественная мысль столь резва, что нет-нет да и бежит по кругу, давно, так сказать, отбеганному. Имеем в виду пресловутую погоню за вездесущими «масонами». Иные ловцы, наделенные специфическим нюхом, усматривают в екатеринбургском изуверстве (ведь и детей изничтожили) ритуальное убийство, содеянное нехристями. Вот только опять же вопрос. Не привлечь ли к ответу и Александра Сергеевича Пушкина? Алиби у него есть, но есть за ним и криминальная угроза. Вспомните: «Тебя, твой трон я ненавижу, // Твою погибель, смерть детей // С жестокой радостью вижу». Максимум молодости? Пусть так. Но как же все-таки быть со слезинкой ребенка? «Смерть детей»!

Кстати сказать, переоценщикам ценностей не худо бы знать, что Каляев дважды выходил с бомбой на великого князя, но в первый раз, заметив в карете великокняжеских детей, отшатнулся.

Сторонники «ритуальной версии» тотчас укажут: над трупами царя и царских детей глумились, крещеному человеку такое неводимо. Да, глумились. Не только расстреляли, но и горючим облили, и... Ужасно. А невольные после екатеринбургской трагедии труп Фанни Каплан, облитый бензином, жарко пылал в железной бочке, стоявшей в сумрачном углу Александровского сада. Кремацию спроворил матрос, комендант Кремля П. Д. Мальков. Пособлял ему случившийся рядом пролетарский стихотворец Демьян Бедный. Оба не инородцы.

Нет уж, граждане, плуг истории, ржавый от крови, вспахивал тогда не «этнические», а совсем иные сущности.

Если Пушкин «видел», то Лермонтов предвидел: «Настанет год, России черный год, // Когда царей корона упадет, // Забудет чернь к ним прежнюю любовь, // И пищей многих будет смерть и кровь; // Когда детей, когда невинных жен // Низвергнутый не защитит закон».

Бакунин, дворянин, и Желябов, крестьянин, не разногласили: в груди народной лавина ненависти. Ой ли, всполохнутся ревнители корней и почвы, ведь когда эти-то, как их бишь, убили Александра Освободителя, опечалилась, пригорюнилась иззябая Русь... Так точно, соотечественники, и опечалилась, и пригорюнилась, больше того, прокляла желябовых. Но вот почему: сочла желябовых за господ — царь нас от крепости избавил, царь бы и черный передел учинил, вот господа-то и порешили царя.

Не так уж и много лет минуло, «чернь» сбежалась к месту происшествия: убит сын царя-освободителя, великий князь Сергей Александрович. При виде его останков, еще как бы дымящихся, никто не обнажил голову. «Все стояли в шапках», — сообщал в охранку уличный филер. Он же зафиксировал и похвалу злодеям: «Молодцы, ребята, никого

стороннего даже и не оцарапали, чего зря людей губить». Какая-то сапожница подобрала не то косточку, не то палец убитого, мастеровой прикрикнул: «Чего берешь, чай, не мощи!» Кто-то пнул носком сапога студенистый комок: «Братцы, а говорили, у него мозгов нет!»

Известный в ту пору бунтарь, священник Григорий Петров предупреждал: «Николай Романов ни полушки права народу не даст. И тогда уже кровь. Море крови. Ожесточение». Так вот, ожесточение, пока еще огражденное частоколом штыков, но уже предвещающее екатеринбургское остервенение восемнадцатого года.

По поводу последнего теперь, задним числом, все можно: и морализовать, и экранизировать, и тиражировать, и эпатировать. Но куда важнее владеть чутким сейсмографом, подмечающим работу закона исторического возмездия, пока она, эта работа, происходит в недрах вулкана. А футболисты, играющие в одни ворота после того, как игра сделана, мало чего стоят.

Если уж говорить о «ритуальности», то в розановском смысле: «Дай полизать крови». В. В. Розанов писал об этом А. А. Блоку. Блок отвечал: «Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем «дай полизать крови». Но вот: сам я не «террорист» уже по тому одному, что «литератор». Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных... И, однако, так с и л ь н о з л о б л е н и е (коллективное) и так чудовищно неравенство положений — что я действительно не осужу террор с е й ч а с».

Летом девятьсот шестого года в тумане моря голубом белел одинокий парус, уносивший Бориса Савинкова, сорвавшегося с виселицы. А далеко на севере, в Гельсингфорсе, раздался клич: «Виселицу Николаю!» — на трибуне громокопящего митинга был Леонид Андреев.

Боевая организация изначально ощущала себя душеприказчицей Исполнительного комитета «Народной воли». И потому если народовольцы «устранили» Александра II, то эсеровские боевики помышляли об «устранении» его внука. Повторено стократ: в истории все приключается дважды — один раз как трагедия, другой как фарс. Социалисты-революционеры не были ни фарсерами, ни фразерами. Иное дело: не иллюзорной ли была преемственность?

Можно не мешкая выложить «пакет» с цитатами из высказываний политических оппонентов, как большевиков, так и меньшевиков. А можно прислушаться к сторонним голосам. И притом несколько неожиданным. Например, Николая Семеновича Лескова. К нему на сей счет никто, кажется, не обращался.

Многие боевики еще пешком под стол ходили, когда он, современник и отнюдь не друг народовольцев, горестно размышлял как раз о преемственности: «Сколько будет жертв, сколько самоотверженного мученичества!» Спрашивал: но верна ли сама тактика? Отвечал: нет, ибо отзовется свирепой реакцией.

Позже именно о тактике высказался автор «Не убий». И не то что бы менторски, а скорее деловито-практически. «Короли и императоры давно уже устроили для себя такой же порядок, как в магазинных ружьях: как только выскочит одна пуля, другая мгновенно становится на ее место». Но не на пулю как таковую возлагал Толстой ответственность, а на ружье, то есть на «устройство общества».

Продолжая народовольческую тактику, эсеры не замечали капитальное различие стратегической ситуации. Террор народovolьцев — шаровая молния. Террор эсеров — спички, чиркающие во время грозы. Народовольцам досталась пора ледостава. Эсерам — пора ледохода. Не будем иллюстрировать картинками общеизвестными. Спросим о частности: куда бы девался Леонид Андреев, выкликни он свой призыв в години минувшие, а равно и нечто подобное в години грядущие?

Но нет, эсеры не отрекались от тактики предшественников. Социал-демократы, цenia героизм народovolьцев, писали и говорили: нам повторять их нельзя.

Этот решительный отказ от повторения поначалу весьма утешал охранку. Одним из первых спохватился жандармский генерал А. И. Спиридович. Читая по долгу службы «Искру», полную, по его собственному определению, «огня и задора», он, человек весьма неглупый, заключил, что «террор целого класса неизмеримо ужаснее группы бомбистов».

Тем временем, как уже говорилось, группа бомбистов ставила на повестку дня «центральный акт» — царевбийство. Он был сорван не столько потому, что в верхах партии нет-нет да и склонялись к пресечению террора, сколько потому, что был «центральный агент».

* * *

Заглавную роль сыграл случай, который не был случайностью. Маркс давным-давно предупреждал о том, что заговорщики находятся в постоянном соприкосновении с полицией; небольшой скачок от профессионального заговорщика к платному полицейскому агенту совершается часто; заговорщики нередко видят в своих лучших людях шпиков, а в шпиках — самых надежных людей.

Именно так и произошло в Боевой организации. Лучшие люди, не выдерживая подозрений, накладывали на себя руки. А шпик-провокатор ходил в супернадежных.

Но вот что действительно поражает: он был вдохновителем и организатором всех побед. Он был нетороплив в поступках, и это казалось мудрой осмотрительностью. Он скупом ронял слова, и они казались весомыми. Он никого не любил, а казалось, что он любит всех. Низколобий и вроде бы сальный, он казался величественным.

В подполье его называли Иваном Николаевичем. В департаменте полиции его подлинную фамилию — Азеф — держали под семью замками. Ни подполье, ни департамент не проникали до дна его конспираций. Он плевал на теории правые и левые. Он обвел вокруг пальца охранку, спланировав убийство и своего шефа Плеве, и великого князя Сергея Александровича. Он околпачил Боевую организацию, отправив на эшафот многих боевиков. Кредит доверия и кредит денежный он черпал разом из двух корыт. Гибрид шакала и гиены? Зверь из бездны? Никакой бездны, никаких психологических сложностей. Циничный мерзавец, и только.

Разоблачение Азефа кончилось публичным партийным признанием кровавых мерзостей столпа партии. Культ Азефа лопнул, распространилось зловоние.

Но важнее самого по себе факта изобличения, важнее самой по себе анафемы было то, что нашлись люди, этим не удовлетворенные. Они сказали своей партии, кто она есть, их партия. Централизм породил верховников. Верховникам, не прекословя, внимали низы. Между первыми и вторыми возникла каста бюрократов. Заискивание перед кастой называлось «любовью к партии», холопское подчинение касте — «партийной дисциплиной».

Это не было ни отступничеством, ни ликвидаторством, ни ренегатством. Мужественные критики, соединившие ее с самокритикой, не устранялись от борьбы за демократическую Россию. Но, справедливо говорили они, необходимо «помнить, что перед тем, как эмансипировать других, мы должны прежде всего эмансипировать себя — от своих заблуждений, от пережитков нравов, от пережитков мысли».

Все это происходило в девятом, десятом, одиннадцатом годах. Ста-ло быть, принадлежит истории. Той самой, что повторяется дважды. Отчего же так плохо прослушиваются серьезные симфонии революции?..

* * *

Предательство Азефа словно бы расщепило и обуглило Савинкова. Как! Он, героический, неутомимый и нестигаемый, он, в сущности, был «сделан» Азефом, точно гомункулус. Кровавый маклер, хороняся за ширмой, дергал ниточки, а он, Борис Савинков, буревестник, черной молнии подобный, трепыхался, словно чучело этой страшноватой птички.

Пытаясь разодрать нарывы самолюбия, он твердил о восстановлении престижа и чести партии. Сам же усомнившийся в методах «террорной работы» — устарели, несовершенны, — он тщился демонстрировать наличие пороха в пороховницах. Да вышел-то пшик. Без Азефа вышел пшик.

Это уж было совсем непереносимо. И кто знает, не служила ли беллетристика В. Ропшина спасительной соломинкой Б. Савинкову?

Годы спустя Сомерсет Моэм, знаменитый писатель и незначительный сотрудник британской разведки, в разговоре с Савинковым заметил, что террористический акт, должно быть, требует особого мужества. Савинков возразил: «Это такое же дело, как всякое другое. К нему тоже привыкаешь». Напускная бравада человека, носившего маску, — сухое каменное лицо, презрительный взгляд безжалостных глаз.

Шесть лет краду он не жил в эмиграции, а прозябал на руинах Боевой организации. Его воскресил февраль Семнадцатого. Трон рухнул, Савинков ринулся в Россию.

Весна была бурной и краткой, как в тундре. С Учредительным собранием было покончено. Так полагал матрос и ушел на гражданскую. Не так полагал Савинков и тоже ушел на гражданскую.

Он блокировался с направлениями любого оттенка, лишь бы антибольшевистское. Даже и с монархистами, полагая, что наши бурбоны чему-то научились. Савинков готов был признать любую диктатуру (включая, разумеется, собственную), кроме большевистской. Он верил, что любой победитель, кроме большевиков, реанимирует Учредительное собрание. Его энергия была из того разряда, что называют дьявольской. Он бросался за помощью к англичанам, французам, белочехам и белополякам. Он командовал отрядами карателей, бандами подонков, наймитами-шпионами. Пути-дорожки савинковцев чадили пожарищами.

Уинстон Черчилль, лично знавший Бориса Савинкова, дал ему место в своей книге с выразительным заглавием: «Великие современники». Савинков, писал Черчилль, сочетал в себе «мудрость государственного деятеля, качества полководца, отвагу героя и стойкость мученика». Умный-то умный, да сильно ж хватил через край! Поневоле вспомнишь, что и на старуху бывает проруха.

Расшифрованная стенограмма савинковского судебного процесса взяла полтора страницы убористого типографского текста. Едва ли не каждый пункт обвинительного заключения обеспечивал Савинкову «вышку».

Его не корежили душегубными пытками — еще до ареста он извлекся в пытках душевных. Снисхождения Савинков не испрашивал. Нет, объяснял, как медленно, шаг за шагом приблизился к роковому вопросу: а что если я ошибся и русские рабочие и крестьяне действительно за них, действительно с ними?

Он не мог сократить остаток лет вчуже. Не думаем, что чекисты выманили его из-за рубежа, хотя чекисты так думали. Он, похоже, пошел на зов иного манка: России новой экономической политики. Но границу перешел нелегально, его взяли в Минске.

И вот он в судебном зале.

— После тяжелой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, в которой я сделал, может быть, больше, чем многие и многие другие, я вам

говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не потому, что стоят с винтовками за спиной: я признаю безоговорочно Советскую власть и никакой другой.

А в заключительном слове добавил:

— Для этого нужно было мне, Борису Савинкову, пережить неизмеримо больше того, на что вы можете меня осудить.

Его осудили на расстрел с конфискацией имущества.

Это было 29 августа 1924 года. В час с четвертью пополудни.

Пять часов спустя ему вручили постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. Высшая мера наказания заменялась десятью годами лишения свободы.

* * *

Сонмы приговоренных получали нечто другое — девять граммов свинца. Получали, ни на унцию не совершив совершенное Савинковым. В чем тут дело? Где зарыта собака?

Смеем полагать, все решено было загодя. Иначе о смягчении наказания не стал бы ходатайствовать председатель суда В. В. Ульрих, столь же неумолимый, сколь и послушный.

Савинков обладал весом и престижем в эмиграции, даже и в том узком сановном кругу, который брезгливо называл его «убийцей» за деяния дореволюционные, не отказываясь, впрочем, от сотрудничества с ним в деяниях послереволюционных.

Гласная капитуляция Савинкова перед Советами, продолженная в письмах из тюрьмы, могла в известной степени воздействовать на эмиграцию. Какова бы ни была эта степень, игра стоила свеч.

Нисколько не витийствуя, он убеждал и призывал бывших друзей прекратить борьбу с русским народом и Российской компартией, возрождающими страну на путях новой экономической политики. Он, в частности, писал: «Не знаю, читали ли вы отчеты о заседаниях съездов ВЦИК и проч. Но я, читая их, был изумлен тем мужеством, с которым в них говорилось о недостатках советской власти». И далее: «Но допустим, что коммунисты «врут». Я утверждаю, что, если это даже на $\frac{3}{4}$, так, то и тогда не подлежит никакому сомнению, во-первых, что советская власть делает все возможное для восстановления экономического положения России и, во-вторых, что ей это в значительной мере удастся». И еще: «Запомните, коммунисты завоевали «середняка», т. е. огромное большинство крестьянского населения, — того «середняка», который испытал на себе прелесть «белого» рая и «зеленой» борьбы и который спокойно пашет теперь свою землю».

Когда Савинков напечатал «Коня бледного», Егор Созонов был поражен выстраданностью каждого слова. Однако другие каторжане-читатели называли автора «отступником», «иудой». Теперь, когда письма

Савинкова благополучно достигали зарубежных адресатов, одни говорили, что он попал в переплет и выкручивается, другие выжигали на его челе тавро второго Азефа, третьи, немногие, находили эти письма искренними.

Как бы ни было, один из тех, кто ни на понюх табаку не вял его голосу, признавал на страницах английской «Морнинг пост»: Савинков «сознательно и безоговорочно перешел на сторону своих бывших врагов», помог им «нанести тягчайший удар антибольшевистскому движению и добиться крупного политического успеха, который они сумеют использовать как вовне, так и внутри страны».

Мавр сделал свое дело. И теперь...

* * *

Он не «выкручивался», он и вправду верил в Россию нэповскую. Может, однако, показаться странным, если не чудовищным, одно обстоятельство. Савинков ни словом единым не порицал «террорную работу».

А ведь именно в эту годину могикане революционного движения, не принадлежащие к правой партии, доживая век на пенсионном покое, обратились в Президиум ЦИК СССР с пространным заявлением. Кричащий документ, давно обнаруженный нами в архиве, дождался своего часа и должен быть опубликован полностью. Здесь же ограничимся выдержкой:

«Если расстрелы без суда, всегда несправедливые и страшные, возможны в исключительные моменты государственной жизни, когда открытая война, внешняя или внутренняя, уничтожает границы между нормальным государственным строем и полем битвы, то разве такое время мы теперь переживаем?» И далее: «Дело в том, что смертная казнь и административная форма ее применения вошли в нравы управляющих. Дело в том, что этот упрощенный и легкий способ управления сделался своего рода нормой, пропитал сверху донизу наш новый бюрократический аппарат и обесценил человеческую жизнь, как в представлении управляющих, так и в сознании управляемых».

Ни звука об этом не проронил Савинков. Странно, чудовищно? Разумеется, если не брать на заметку то, что Савинков по сути своей как был, так и оставался террористом. В упомянутых письмах он говорил, что встретил на Лубянке «не палачей и уголовных преступников», а «убежденных и честных революционеров, тех, к которым я привык с моих юных лет». И еще: «Они напоминают мне мою молодость — такого типа были мои товарищи по Боевой организации».

Савинков забыл, что в дорожном мешке истории немало зловещих сарказмов.

Сын Савинкова Виктор носил фамилию матери. Его мать, жена Савинкова, была дочерью писателя Глеба Успенского, великого мученика совести.

Виктор Успенский приезжал из Ленинграда на свидания с отцом. Савинков однажды сказал: услышишь, что я наложил на себя руки, не верь.

В мае 1925 года он ходатайствовал об освобождении вчистую. Савинкову дали понять, что надежда слабенькая. Мавр, сделавший свое дело, вероятно, осознал, сколь жестоко обманут. Нам неизвестно, получил ли Савинков ответ на свое ходатайство. Известно другое: в мае 1925 года газеты сообщили о его самоубийстве.

Варлам Шаламов, многолетний колымский каторжанин, поэт и прозаик, известный ныне всему читающему миру, рассказывал: Савинкова сбросили в пролет тюремной лестницы. Так, умирая, исповедуясь, шепнул Шаламову лагерный доходяга, бывший латышский стрелок.

И это савинковское «не верь», и этот рассказ В. Т. Шаламова передаем со слов здравствующей внучки Германа Лопатина, выдающегося демократа в стране, не имеющей демократических традиций.

А Виктор Успенский, добрый знакомый Е. Б. Лопатиной, погиб в кровавом потоке. В том потоке, что захлестнул многострадальный город после «террорной работы» в Смольном.

Зловещие сарказмы истории — не выдумка историков.

СОДЕРЖАНИЕ

Тайная лига	3
Хранитель кожаных портфелей	13
Борис Савинков, он же В. Ропшин, и другие	17

ДАВЫДОВ Юрий Владимирович

ТАЙНАЯ ЛИГА

Редактор Г. А. Е л и н

Технический редактор Т. Я. К о в ы н ч е н к о в а

Сдано в набор 4.05.90. Подписано к печати 25.06.90. А 00325. Формат 70 × 108^{1/32}.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,40. Усл.
кр.-отт. 1,58. Уч.-изд. л. 2,05. Тираж 150 000 экз. Заказ № 2302. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● ЕСЛИ ВЫ СМЕНИЛИ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА...

...не торопитесь получить деньги со своего счета!

Вы можете дать поручение перевести весь вклад или его часть в любое учреждение Сберегательного банка СССР для зачисления на счет по вкладу или для выплаты переведенной суммы.

Можно получить вклад до поступления перевода на основании телеграфного подтверждения, а также затребовать перевод вклада по телеграфу.

Вкладчикам предоставлены большие льготы при переводе вкладов. Если вкладчик переводит на свое имя вклад, хранившийся в Сберегательном банке СССР не менее трех месяцев или же в пределах одного административного района (города), то такой перевод осуществляется бесплатно.

Если вкладчик вносит наличные деньги и предъявляет для записи приходной операции сберегательную книжку, выданную другим учреждением Сберегательного банка СССР, то перевод принятой суммы в банк, где находится счет по вкладу, тоже будет выполнен бесплатно.

● СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР К ВАШИМ УСЛУГАМ!